

**Ю**ОЗАС, в разговоре вы как-то упомянули, что в юности собирались быть юристом, а на актерскую стезю вас, мол, занесло случайно.

— Юристом я пытался быть. Хотя, конечно, желания всегда были какие-то такие — в сторону искусства. Скажем, меня с детства тянуло к живописи, к рисованию. В школе был такой, знаете, худой, долговязый, и девушки со мной не очень хотели общаться. Но тетрадки свои подсовывали, чтобы я им там рисовал. Ну а в армии два с половиной года размышлял, что же мне больше всего по душе. Все-таки пришел в университет. Тогда юриспруденция не была в моде. Ну кем можно было стать? Рядовая чиновничья должность: следователь или чиновник Минюста. Но меня привлекало международное право. Вообще-то, конечно, смешно: *тогда* — и «международное право». Это был 63-й год. Но, несмотря ни на что, у меня появились хорошие друзья в системе юриспруденции. Мой преподаватель Эугенио Курис — теперь судья в Страсбурге. Он был у нас деканом факультета...

— Вы успели поработать?

— Нет. Я уже студентом начал сниматься.

— В киноэнциклопедии о вас сказано, что первая ваша роль — в фильме «Когда сливаются реки», 1961 год.

— Ну, там был эпизод. Основное — в 65-м, «Никто не хотел умирать». Но тот эпизодик повлиял (это еще до армии было) на то, что позже меня нашли те самые люди и позвали на роль.

— Вы не производите в жизни впечатления актера. С вами интересно, здорово разговаривать, и кажется, что вы гораздо крупнее «профессии».

— Актерская профессия меня никогда не привлекала. До армии все было: ящики колотил для конфет, где-то убирал, в Казахстан ездил на уборку урожая. Тогда призыв такой был — на освоение целины. Ну, я не на призыв, конечно, откликнулся. Мне интересно было куда-то махнуть. Тем более — из провинциального окружения.

— Можно ли с такими вашими тогдашними устремлениями связать и тягу к «международному праву»?

— Наверное. Мне всегда как-то тесно было в рамках, в которых я оказывался. Тесно было в школе, тесно в университете. Все мы тогда были в таких ограниченных условиях. Теперь мои дети могут поехать куда хотят. Моя дочурка — ей 19 — три языка знает, учится во Флоренции. Эти возможности были для нас остановлены. А стремление было — ну так хотя бы в Казахстан. Я тогда впервые познако-

мился с Москвой. Метро московское...

— Можно ли говорить, что вам теперь тесно и в Вильнюсе?

— Всегда было тесно. В больших городах мне легче. В Нью-Йорке очень хорошо себя чувствовал, когда бывал. Эта вся суматоха очень хорошо влияет на меня. Затерянным там себя чувствуешь. Довольно комфортно. В Москве тоже в какой-то мере. Но Москва мешает тем, что меня иногда узнают. Поэтому я не могу оставаться собой. Это давит.

— Вы себя хотя бы в какой-то момент времени ощущали артистом?

— Нет.

— Но вы же в определенный период очень много снимались.

— Бесперывно, бесперывно. Это заставило меня уйти из университета. Вернее, перейти на заочное. Уже не успевал. Все валом пошло. «Шит и меч», какие-то съемки бесконечные, а на это наложилась еще одна картина, потом еще... Но мне всегда не дает покоя всякая незавершенность. Похвальнось нехорошо, но меня ведь почти все театры тогда приглашали. Одни с испытательным сроком, другие — без, но, в общем, почти все. И даже в Национальный театр я уже было собрался пойти, написал заявление, но потом так и не пришел.

— Но все-таки в театре вы тоже играли.

— Уже потом, когда учился здесь, в Москве, на режиссерских курсах. Попался человек, который руководил тогда Каунасским театром, и он меня уговаривал сыграть Коломейцева в «Последних» Горького. Я уперся и отказался. Но потом он попал очень психологически точно, предложил мне Строителя Солнес Ибсена. Разумеется, удержаться от этого было почти невозможно. В кино меня все-таки эксплуатировали на таких, знаете, замкнутых ролях, малоэмоциональных.

А здесь мне хотелось показать, что есть темперамент, что могу и говорить, и вообще... И вот я попался с Ибсеном. После этого уже были другие роли. Хотя я знаю, что там я совершил ошибку, играя себя, или — как бы сказать точнее? — не то что себя, а «играя перед объективом». Потому что объектив для меня был... ну... «Божье око», что ли. Если я на репетиции могу из себя что-то недовыдавать, сдерживаться, еле-еле двигаться, то перед объективом, когда уже камера непосредственно включена, то тут я уже остановиться не мог, я оголялся. Никого не видел, ничего не знал. И эта вот камера, она привила мне такие навыки, что будто бы я находящемуся рядом «Божьему оку» — объективу, то есть предмету, для меня оживленному, исповедуюсь. И то же самое я пытался делать в театре с ролью. Но настоящие чувства в театре ничего не

# «Я ВСЕГДА ОТКАЗЫВАЛСЯ РАБОТАТЬ ЗИМОЙ»

## Юозас Будрайтис в роли Юозаса Будрайтиса

*Независимая газета. — 2000. — 13 янв. — с. 9, 15*

дают. Ну, может быть, первый ряд еще тебя поймет. А задние ряды хотят видеть действо. И чтобы оно — совпало с текстом. Должно происходить движение, которое бы транслировало мысль. Это мне казалось лишним. Зачем это я стану жестикулировать, кричать куда-то на задний ряд! Это так меня раздражало, что после первого спектакля я подумал: не мое это все. Позже я пытался отстранить образ от себя. Теоретически знал — я читал очень много литературы, — что так надо сделать. Но как только выхожу на сцену, я не могу с собой совладать. Я всегда думал: почему я должен заниматься каким-то, чьим-то, кем-то другим созданным, абстрактным персонажем, который совсем «не я»? К тому же этого невозможно не видеть. Все равно, я есть я. А если нет, то пускай другого актера берут, человека другого, который соответствует именно этому. С соответствующим характером.

— Теперь я понимаю, почему вы производите такое впечатление — «не совсем актера», вернее: совсем не актера. Кстати, можно ли сказать, что в этом разница между театром и кино?

— Я думаю, что именно в этом и есть. Хотя многие считают, что это одно и то же. Но я убежден, что это не так. И даже после того, как я поработал в театре года три, Жалакявичус мне так и сказал: «Знаешь, тебя театр испортил для кино». Потому что я обрел навыки, театральные. И я понимаю, о чем тут речь. Ведь если другие что-то могут, то я тоже могу этого добиться, научиться. Так и произошло, — я эти навыки обрел, и начал я себя жалеть, экономить. Будто бы я могу прикрыться. Знаком каким-то. Который, собственно, сил больших от меня не требует, а при этом зрителем воспринимается хорошо...

— А что было потом, после этой вашей кинематографической части жизни?

— Я вот так снимался. Очень активно до перестройки. В перестроечный период режиссеры, но еще достаточно много. А потом наступило время — года, наверное, с 92-го, когда возможность сниматься стала появляться только эпи-



Юозас Будрайтис. Фото Фреда Гринберга (НГ-фото)

зодически. И я стал думать: а что, разве это самое главное для меня? Нет, конечно! А что же теперь делать? И я очень спокойно представил себе, что есть множество дел на земле, которыми я могу увлекаться и которые вполне меня удовлетворяют. И тут как раз мне случайно предложили в литовском МИДе поехать в Москву в качестве атташе по культуре. Слово бы это, ну прямо как нарочно, поберег дел меня кто-то. Потому что я русскую культуру довольно хорошо знаю (ну так мне кажется). Литература меня увлекает бесконечно. И время есть. Мне показалось, что кто-то очень здорово это решил, что вот я могу быть как раз таким звеном русско-литовской культуры, связкой этой. Получив такое предложение, я благодарил судьбу за то, что именно так произошло. И так много нашел для себя в этом занятии! Знаете, когда кто-то пытается говорить, что вот, мол, променял творчество... мне как-то даже смешно. В каждом деле есть творчество. И творческая искра может быть высечена всюду. Тут я уже работаю три с половиной года и очень сильно этим увлекся. Потому что

столько можно сотворить! Разных планов воплотить, задумок всяких — это бесконечно! Только, может, я не видал так явно, как на экране. Но то, что я создаю, воплощаю какой-нибудь проект, который начинает существовать уже сам по себе, так ведь это же я его завожу — своим мотором. И еще, эта связь Литвы и России для меня открылась именно через Балтрушайтиса. Его фигура мне бесконечно мила. Может, это не тот поэт, чье творчество я единственно люблю. Но он меня вот именно привлекает, и мне абсолютно не жалко времени, которое я трачу на то, чтобы его так или иначе популяризировать. Или проводить проекты, основанные на его творчестве. Мне самому очень нравится то, что я придумал: устраивать ежегодные конференции по Балтрушайтису. Уже состоялись две. И они не то что «исчерпали тему», наоборот — углубили ее, усугубили. Ощущение такое, что с каждым годом они становятся более широкими. Если первая была в основном только о Балтрушайтисе — поэте Серебряного века и связанных с этим аспектах, только один доклад был о Балтрушайтисе — литовском диплома-

те, то вторая была посвящена еще двум Балтрушайтисам. Ведь есть еще Балтрушайтис — сын поэта Балтрушайтиса. Примечательно, что если в России более известен старший, то в Европе больше знают сына. Это — профессор Сорбонны, очень известный историк культуры и искусства.

— Говорят, вы еще много занимались фотографией.

— Бывало. Мне ведь и в кино было тесно. Хотелось все как-то шире... Поэтому, когда перерывы бывали между дублями, — ну, знаете, всегда ведь на съемочной площадке уйма проблем, которые процесс затягивают: кто-то опоздал, чего-то не хватает... — так мне жалко было просто шевелить языком, лялкать с кем-то, анекдоты травить. Я обнаружил для себя фотографию. Взял старую «Лейку», к ней — объектив русской «Фокус 20». И у меня развязались руки, в том смысле, что обнаружил: могу снимать незаметно. Я знал параметры этого объектива и мог не глядя через окуляр брать кадр, когда знаю, что он уже есть, чувствую. И вот во мне такая дьявольская машина сработала: стал я издеваться над своими коллегами, всячески их «искривлять». Потому что — ну что? — фотографию делать? Фотографов уже столько было. Столько надделано. А мне хотелось посмеяться. Но я и на себя объектив направлял. Тоже ведь не хрустальный. Я и в некоторых фильмах над собой смеялся. Впрочем, я не хотел причинять кому-то боль — подчеркнуть физические недостатки и т. д. Это другое, конечно. У меня, скажем, есть друг один — художник. Он горбатый. Я его очень люблю, уважаю. Но я думаю: не надо скрывать, что у него горб. Он такой, какой есть. Смеяться над этим невозможно. Но и делать вид, что это не так — глупо. Кстати, я его снял в одном своем короткометражном фильме. «Роман горбуна» — так и назывался. По Бунину. Там, если не читали, горбун получает письмо от женщины — объяснение в любви, мол, я люблю ваш трагический взгляд, вашу гордость и отрешенность и т. п... Буду ждать вас там-то и там-то с фиалками в руке. Он идет на свидание, и его встречает горбуныя. Я долго мучился, пока нашел визуальное выражение литературе (рассказчик-то весь — полстраницы). Но было очень сложно.

— Какие у вас еще режиссерские работы?

— Две короткометражки я снял. Стал снимать полнометражный. Вскоре после смерти Брежнева, тогда уже начинались новые времена. Мне денег не хватало. В той картине довольно сложная архитектоника была, а я, не имея опыта, сам заранее неверно оценил стоимость, и уже после запуска мы не влезли в те

сорок тысяч, которые мне были определены. Это была такая новелла Зюдермана о двух молодых людях, которые получают земельку где-то в болотах, и их ежегодно затопляет. Все время наводнения, а в ключевом эпизоде — там потоп целый. И такая брейгелевская картина: на крышах сидят с коровами, со всем скарбом... Я полагал, что такой потоп специально делать не надо. Там и так каждый год наводнения. Но когда начал работать, увидел, что этим не обойдемся. Во-первых: как я сделаю, чтобы в воде люди не замерзли и чтобы все там плавало? И потом: всякие декорации... Натюрель не сделаешь. Решил: будем делать декор. Крыши изб, и на них сидят люди, звери... И плавают между какой-то там каторжник, которого все боялись. А он плавает на своем плоту — он свой дом строил на плоту, и плот при наводнении всплывал, — так он плывет к этим избам и всех снимает. Как Ной. На сушу увозит. Этот персонаж меня больше всего привлекал. Он вроде сам двойное дно имеет, оборотную сторону. Каторжник, противный, отрицательный, ужасный, страшный — всякий такой; но столько доброты в человеке, что он о других больше думает, чем о себе. Ну и пара эта, которая, несмотря на ежегодные потопы, семью создала, детей вырастила... И все крутится, крутится жизненный круг, их снова заливают, а они... Очень это меня привлекало. Но вот не состоялось. Мне самому очень жаль.

— Есть еще фильм с вашим участием, который я видел только раз и уже давно, но который вызывает у меня, например, большой интерес, хотя понимаю, что он не должен был пользоваться широкой популярностью: Нюхач.

— Так там тот самый элемент подшучивания над собой. Это был момент, когда я нашел, кажется, для себя в кино некоторую зацепку, чтобы следовать дальше. Потому что к тому времени мне уже все в кино перестало нравиться. Надоело. Я уже тогда подумывал уйти. Однообразно. Пошли «миллионеры», «иностраницы», «журналисты». Ну еще одну роль, ну еще... А ведь тогда, в советское время, денег особенно не заработаешь, и какая разница — в одном фильме снялся, в трех... Кроме того, к серьезным работам по русской классике, у больших режиссеров для меня путь был закрыт. Было своего рода торможение. Прибалтийские актеры были определенной группой, которые никогда не достигали ролей таких, как Янковский или Петренко — у очень хороших режиссеров, в классике. Мы были обречены на «фашистов», «миллионеров». Конечно, я не только «фашистов» играл. А были люди, которые — только. Масюлис, например. Прекрасный актер. Тоскливо становилось.